

Александр Мелихов

Как округлить треугольник

Беседу ведет Елена Иваницкая

Е. И.: Как и когда у вас возник замысел книги о «романе России с Европой»? А когда возникло это «острое» название — «Колючий треугольник»? Ведь именно из-за него, как мне кажется, книгу заранее воспринимают как «антиевропейскую», «антизападную», хотя ваша позиция гораздо сложнее любых «анти».

А. М.: Исходного замысла не было, разные главы писались по разным поводам и часто по заказу. Эссе о художниках — для курса мировой художественной культуры, эссе об ученых — для сборника о главных фигурах XX века, статья об «особом пути России» — для соответствующего «круглого стола», глава об истории как состязании грез печаталась в толстом журнале, полемика с Солженицыным о еврейском вопросе тоже писалась как толстожурнальная. Но когда Геннадий Комаров предложил издать в «Пушкинском фонде» книгу моей эссеистики, я увидел, что все эти материалы так или иначе касаются проблемы «русских европейцев». Эта социальная группа то становится крайне престижной, то в ней, наоборот, начинают видеть чуть ли не изменников родины (обычно и евреи тут попадают под раздачу). Оттого этот любовный треугольник — русские, европейцы, русские европейцы — я и назвал колючим. Но как мою книгу можно считать антизападной, если очень большая ее часть посвящена западным гениям, которые были кумирами в нашей стране? Другое дело, что русским людям очень трудно, а большинству почти невозможно, выстроить экзистенциальную защиту, защиту от чувства своей мизерности и брэнности в отсутствие собственной красивой родословной. Поэтому, когда любовь к западной культуре, к западному образу жизни обогащает, укрепляет эту защиту, то и Запад воспринимается дружественной силой. Когда по тем или иным причинам (впрочем, причина всегда одна — конкуренция) любовь к Западу начинает ослаблять собственную защиту, то и Запад начинает ощущаться силой враждебной. Возможно, все укладывается в ту же схему: побежденные всегда испытывают непри-

Петербургец Александр Мелихов — один из самых известных современных российских писателей. Математик по первой профессии, он выступает также как общественный деятель и педагог, а в последние годы — и как социальный философ. В январе 2013 года Пушкинский фонд выпустил его остропроблемную книгу «Колючий треугольник: русские, европейцы, русские европейцы», которая посвящена многовековой идейной драме в отношениях Запада и России. От этой книги и отталкивается критик, кандидат филологических наук Елена Иваницкая в своей беседе с Александром Мелиховым.

язнь к победителям. И если людям начинает казаться, что их вытесняют из собственного дома... А национальным домом для человека служат не только территория, экономика, но также и воодушевляющие фантазии. Угроза этим фантазиям («святыням») и вызывает ту самую «святую», то есть материально бескорыстную ненависть, которую можно наблюдать в конфликтные эпохи и у русских, и у немцев, и у финнов, и у евреев, и у арабов — у всех, кто начинает проигрывать в состязании грез. Поэтому даже самые бесспорные западные ценности нужно внедрять и развивать так, чтобы не повредить экзистенциальную крышу, — иначе они будут отвергнуты вместе с их носителями. Собственно, в этом заключается и вся моя «антизападность».

Е. И.: Второй вопрос о том, о чем мы с вами много лет спорим и даже умудрились однажды поссориться. На мой взгляд, вы преувеличиваете значение «мифов» (= «грез», идеалов, «экзистенциальной защиты») в жизни личности и общества. Как социальный мыслитель вы занимаете в этом вопросе радикальную позицию в традиции Сержа Московичи («Массы не могут жить под холодным небом!»). Но не будем возобновлять спор как таковой. Мы говорим о вашей книге, а в ней сразу останавливают внимание несколько утверждений, которые мне кажутся опасным полемическим заострением. Вот первое: высказывание о «борьбе с низкопоклонством перед Западом» в конце 40-х — начале 50-х годов. Ваши слова можно понять так, будто вы одобряете и оправдываете эту идеологическую кампанию, не разделяя разве что частностей. Вы пишете: «Велась она методами крайне топорными, что, впрочем, не означает ее неэффективности по отношению к малообразованной массе: чувство превосходства над Западом укрепляло ее экзистенциальную защиту и тем самым укрепляло ее привязанность к своей стране». Мне, увы, кажется, что кампания укрепляла страх, повышала истерику, плодила доносы. Безумные лозунги вколачивали в «массу», но... «масса» молчала, когда можно было промолчать, и думала сама. Первое мое возражение — вашими же словами: малообразованные массы «не позволили идеократии проникнуть в глубину бытия. Можно сказать, что именно они в гораздо большей степени, чем интеллектуалы, подготовили явление демократии и либерализма». А второе возражение — моя гипотеза против вашей. Когда в 1948 году произошел очередной погром музыкальной культуры, когда Прокофьев и Шостакович были объявлены антинародными низкопоклонными формалистами, тогда некоторым представителям массы не удалось промолчать. Например, в журнале «Советская музыка» появилось «письмо» мастера литейного цеха машиностроительного завода города Нальчика А. Загоруйко. Он горячо одобрял политику партии и гневно осуждал композиторов — космополитов и формалистов, которым партия и народ дали все, а они пишут так, что слушать невозможно — ни складу ни ладу. Мне представляется, что несчастный мастер Загоруйко (если он существовал в реальности) испытывал только тревогу и страх, когда ему объявили, что его имя поставят под таким вот письмом. А вовсе не чувство защищенности...

А. М.: Чужая душа, конечно, потемки, но мне кажется, чернь всегда рада унижению тех, кто над нею годами возвышался по непонятным для нее причинам. «Нынче теноров нету» — это слова тоже героя Зоценко. А вот те его герои,

которые совсем уж не замечают ничего, кроме жратвы и жилплощади, — вот они-то, мне кажется, и являются полемическим заострением. Я таких не встречал. Даже самые примитивные люди хоть изредка, но радуются победе национальной хоккейной команды, победе нашей девушки на конкурсе красоты — хоть что-то из «большой жизни» им все-таки доступно. И они чувствуют гордость, когда узнают, что их страна лучше прочих. Как и квартал, в котором они живут, квартира, жена — всегда приятно принадлежать к кругу успешных и легче любить успешную страну. Но если я признаю эффективность этой кампании, это не значит, что я ее одобряю. Во-первых, она принесла массу несчастий тем, кого я люблю, а во-вторых, самоуважение нельзя укреплять прямой ложью — она непременно будет разоблачена. Самоуважение нужно укреплять умелыми подтасовками, что мы и делаем по отношению к себе и тем, кого любим. Именно поэтому я никогда и ни с кем не ссорился, а с вами тем более, из-за того, что оппонент предпочитает моим подтасовкам свои. Подтасовки служат нашим интересам, чаще всего психологическим, и я никогда ни от кого не требовал предпочтения своим интересам моим.

Потому-то я и не понимаю, что такое «опасное заострение». Буду ли я заострять или затуплять, люди все равно будут руководствоваться своими интересами, а не моими словами. А вот чтобы продвинуться к новой истине, то есть к новому временному согласию, лучше высказать новую идею с предельной заостренностью — это заставит оппонента максимально мобилизовать свой потенциал, выложить все карты разом. Что и тебя, в свою очередь, заставит мобилизовать свой потенциал. Я считаю, что в споре выигрывает тот, кто проигрывает, — ведь именно он узнал что-то новое. Так что вам за наши прения я только благодарен, иной раз хочется прямо включить вас в соавторы. Особенно если разъясните мне, кто такой Московичи. Чьих он будет?

Е. И.: Московичи вслед за Лебоном признавал *два* типа мышления: мышление толпы, основанное на «социальных представлениях» (=фантомы, грезы, сказки), и мышление индивидуальное, рациональное, научное. А вы признаете *один* тип.

А. М.: Да, я думаю, что человек всюду один и тот же, но в толпе он больше дает волю своей натуре, его раскрепощает безответственность.

Е. И.: Еще одно заострение настораживает меня в главе «Коммунизм, национализм, либерализм — конкуренция грез». В вашем романе «Интернационал дураков» герой говорил, что всякое мышление — подтасовка, ни одно убеждение доказать нельзя, и научное мышление — подгонка фактов под результат. В этой главе вы от своего имени говорите то же самое. С моей стороны было бы наивно лопотать, что это не так. Вы это лучше меня знаете: одно дело мыслить на плоской земле, накрытой семью хрустальными сферами, а другое дело — на той, которую обогнул Фрэнсис Дрейк. Что касается Магеллана, то сторонник экзистенциальной защиты (привычной картины мира) сказал бы: неизвестно, где он плавал, откуда вернулся его единственный уцелевший корабль, тем более, что самого Магеллана на нем уже не было. Подтасовка! А Дрейку уже не возразить. То есть, мой вопрос: зачем вы говорите именно так, зная, что это не так?

А. М.: Я не знаю, что это не так, я всего лишь психологически убежден, что это не так, а знание и уверенность разные вещи. Я думаю, ни одно суждение не может быть доказано: мы называем истиной всего лишь то, что способно убить

наш скепсис. То, что убивает скепсис данного коллектива, то и является истиной этого коллектива. А коллектив и подтасовывает в пользу того, что обеспечивает ему психологический комфорт, экзистенциальную защиту. Но лично мне образ плоской земли под хрустальными сферами защиты не обеспечивает, и только поэтому я его и не буду защищать. А если бы обеспечивал, я бы сумел защитить его хоть «научным», хоть мистическим образом. Сказал бы, например, что земля плоская в неевклидовой геометрии или что хрустальные сферы открываются лишь духовному зрению, а все кругосветные путешествия не что иное как бесовское обморачивание, и если бы это убеждение было массовым, можно не сомневаться, находились бы очевидцы, которые сами узрели эти сферы, — ведь до сих пор святых канонизируют по «точно установленным» чудесам...

Однако, о том, что слишком близко, мы лучше помолчим. Но в чем я уверен, так это в том, что перед нами всегда стоят две одинаково важные задачи — узнать правду и защититься от правды, ибо она слишком ужасна. Разумеется, для физического выживания необходимы предельно точные прогнозы. Но они же открывают нашу мимолетность и подвластность безжалостным законам природы — свое бессилие перед ними мы и стремимся скрыть утешительными иллюзиями, составляющими нашу экзистенциальную защиту. История человечества есть история борьбы полезной, но ужасной правды с утешительными сказками. Верх берет то одно, то другое. Но надо признать, что без веры в чудеса человечество прожило лишь считанные исторические минуты. И нынешний разгул мракобесия с астрологами и колдунами всего лишь возвращение к норме.

Е. И.: Как и почему вы лично в ваши школьные годы потянулись — ну, не обязательно говорить к «западной» культуре, а скажем, к достижениям всемирных гениев. Поделитесь с примерами.

А. М.: Мне кажется, именно в начале шестидесятых мы начали проигрывать Западу, и прежде всего Америке, в состязании грез — американская сказка начала казаться соблазнительнее. И в джинсах, и в именах — Пит, Боб, и в танцах — буги-вуги, рок-н-ролл, твист — я так это и подытожил: Советский Союз проиграл на конкурсе красоты, а красота едва ли не главное, что привязывает людей к своей стране. Тогда же продвинутые ребята типа меня узнали из журнала «Юность», что самая крутая живопись это не Репин, а импрессионисты, Ван Гог... Помню, на матмех пришла читать лекцию дама-искусствовед со слайдами — так набилась аудитория человек на сто пятьдесят, тогда же стало очень престижно ходить на выставки... Меня особенно пленил Рокуэлл Кент, но он являлся скорее продолжением Джека Лондона, который был настолько свой, что американцем почти не ощущался. Как позже Хемингуэй. Недаром я их обоих включил в книгу, и Кента, и Хемингуэя. С экспрессионистами было сложнее, про них раньше бы сказали: «Я бы лучше нарисовал», зато потом, наоборот, стало стыдно признаваться, что тебе не нравится «мазня» — я долго приучал себя к их грубости. Вот и они вошли в книгу. А Дали был скорее чем-то пикантным, прикольным, чем восхитительным, но что соблазнял, это точно.

Е. И.: Вот школьники сталкиваются с чем-то таким на холсте, что, во-первых, малопонятно и уж никак не похоже на «фотоподобное», а во-вторых, в книжках пишут и учительница говорит, что это плохо и «нам не нужно»: это упадочническое искусство толстых, это «и обезьяна намалюет» и т.д. Что побуждает ребенка — что побуждало вас — всматриваться,

вдумываться, искать об этом материалы? Ведь так просто было бы посмеяться: осел хвостом мазюкал — вот и весь Кандинский! Рисовать не умел! Как и Малевич!

А. М.: Я тоже с этого начинал, как те бургеры на выставке «вырожденческого» искусства. Интерес к «вырожденцам» тоже возник из протеста — не хотелось находиться среди этой толпы. И сначала начинаешь в них вглядываться просто «назло»: раз вы ругаете, я буду хвалить. По-настоящему оценить прелесть грубости, когда ты еще отнюдь не успел объесться академизмом, как это было с Нольде или Георгом Гросом, разумеется, было невозможно, это пришло гораздо позже. А вот читать о них, вдумываться в их судьбы и доктрины меня побудила создательница курса мировой художественной культуры Лия Михайловна Предтеченская, свято верившая в мощную власть красоты. Она попросила меня написать несколько учебных пособий о современной живописи для курса МХК — тогдашние мои размышления и легли в основу глав о художниках. Я надеюсь, моя книга и сама может быть использована в качестве учебного пособия и по МХК, и по литературе, и по физике.

Мне кажется, например, мало кто сознает, что славу Хемингуэю принесли мотивы разочарования, эскапизма, а мы его обожали как борца — и вместе с тем одиночку, этакого странствующего рыцаря.

Ну, а в науке главными творцами века были Эйнштейн, Бор, Винер с его кибернетикой; только через много лет я понял, что это была тоже не более чем сказка о мыслящей машине, об общих якобы законах управления что судном, что обществом. Научная ценность этих «размышлизмов» была равна нулю, но сказка помогла реальному прорыву, как оно всегда и бывает. А Ферми я включил в свой «Треугольник» из-за атомной бомбы, без этого он был бы рядовым классиком. Как и Винер.

В общем, молодежь всегда тянется за красотой, тянется к миру, где надеется ощутить себя наиболее красивой, и я был только одним из очень многих. Но сегодня более красивым я ощущаю себя в России. Как и все мои друзья, в прошлом поклонники Хемингуэя и Ремарка, отплясывавшие твист и покупавшие у фарцовщиков поношенные «фирмовые» джинсы. При всех наших безобразиях я все равно только в России чувствую, что это моя страна, я часть ее если уж и не бессмертной, то очень долговечной и грандиозной судьбы. А грандиозность для экзистенциальной защиты куда важнее, чем комфорт. Который вообще несколько не защищает от ужаса нашей бренности и мизерности.

Е. И.: У сегодняшней молодежи гораздо больше возможностей реализовать тягу ко всемирной культуре, но есть ли она, тяга?

А. М.: Если западный мир утратил ореол нездешности, тайны, то он наверняка утратил и девять десятых своего обаяния: прагматические соображения могут привлекать, но не очаровывать, очаровывать может только сказка. Поехать, поработать, заработать — это одно, а романтизировать — совсем другое, почти противоположное. Зато и собственная наша страна сегодня почти утратила последний ореол какой-то романтичности, какой-то особой судьбы: мы провозгласили, что мы нормальная, то есть заурядная европейская страна. Заурядная, но явно похуже прочих. И усердствовать нужно только в одном — чтобы сделаться полностью заурядными. На конкурсах красоты с такими установками победить невозможно. Именно поэтому главная задача России сегодня — создание национальной аристократии, именно на это должна быть ориен-

тирована система образования. Она должна делать ставку на самых талантливых и романтических, чьи достижения мы до сих пор и проедаем — достижения Пушкина, Толстого, Мусоргского, Менделеева, Колмогорова, Королева...

Собственно, народ воспитывает не его школа, а его аристократия, школа только тиражирует. Во время моего выступления в Московском педагогическом университете мне задали вопрос: в ком больше жлобства — в прежнем или в новом начальстве. Я ответил: прежний начальник был невежда, но знал, что в центре города должен стоять памятник Пушкину, что его книги должны быть в каждой школьной библиотеке. А от новых — с престижными дипломами, с языками — я слышал, что Пушкин давно устарел, что важны лишь рыночная конкурентоспособность и курс доллара — какой тут Пушкин с его «не продается вдохновенье»?!

Е. И.: Часто повторяют, что школа должна учить мыслить самостоятельно. А в чем опасность мышления «самостоятельного»?

А. М.: Несамостоятельного мышления просто не бывает, иначе оно не мышление, а повторение уже известного. Дикарь, который впервые додумался, что болезни происходят от злых духов, мыслил так же самостоятельно, как Пастер, — на уровне тогдашней науки.

Но если мы обратимся к мышлению наиболее чистому — научному, где прямо вменяется в обязанность ни в чем не полагаться на авторитеты, все подвергать сомнению и так далее, то мы увидим, что научный скепсис допускается лишь в мизерной части проблемных вопросов, а 0,9999 остальных даже не обсуждаются. При попытке усомниться в том, что земля круглая, что вещество состоит из атомов и тому подобном, ты будешь просто изгнан и осмеян. Научные революции допускаются лишь тогда, когда избежать их уже совершенно невозможно, но и тогда новая парадигма стремится сохранить максимум прежнего, то есть наследственного. Только поэтому науке удается неуклонно накапливать знания. А если бы она позволяла любому дураку или просто оригиналу что-то вписывать или вычеркивать без согласования с научным сообществом, она бы погибла. У моей мамы в классе — она всю жизнь преподавала физику — постоянно находился оригинал, который заявлял: «Да не так двигатель работает — четыре такта какие-то еще!» — «А как?» — «Работает, да и все!» Мышление социально. Если человек не стремится убедить свою социальную группу и быть ею убежденным, то его мышление в этой группе может считаться деструктивным. Личное мышление бывает эффективным тогда, когда оно становится частью мышления коллективного. Поиск истины это еще и поиск согласия. По-настоящему оригинально мыслят только душевнобольные.

Е. И.: А в чем опасность мышления по принципу «авторитета»?

А. М.: Понятно, в косности. Но всеобщая косность лучше, чем всеобщая оригинальность. Наследственные коллективные мнения — а это и есть авторитетные мнения — по крайней мере, прошли проверку временем, и человечество с ними выжило. Если бы наука остановилась на уровне девятнадцатого века, большинство людей этого бы просто не заметило, жили бы в той же электрической цивилизации. Зато среди оригинальных мнений встречаются просто смертоносные. И тем не менее, новые вызовы временами требуют обновления и самых авторитетных мнений, такие эпохи — Клондайк для шарлатанов и чудачков. Пока не установится новая авторитетность. До нового кризиса.

Е. И.: А каким вам видится оптимальный баланс?

А. М.: Смотря что считать критерием оптимальности. Если цена ошибки очень велика, я предпочитаю мышление осторожное, стремящееся скорее сбегать, чем приобрести. Если же ставки низки, можно и рискнуть, но все это сугубо индивидуально. Оптимисту кажется одно, пессимисту другое — все зависит от ситуации и даже от душевного состояния эксперта. Люди, и я в том числе, становятся консерваторами или либералами в зависимости от того, какой бок отлежали. Толстой, правда, писал другое: чем больше человек работает, тем более он консерватор, чем меньше работает, тем более он либерал. Граф тоже был большой оригинал.

Е. И.: **Салтыков-Щедрин говорил, то ли серьезно и с горечью, то ли саркастически: «У нас лучше, потому что страдают больше». Анна Ахматова говорила очень серьезно: «Они (= европейцы, русские эмигранты, ставшие европейцами) завидуют нашим страданиям». Вы с этим согласны?**

А. М.: Я не раз писал, что, работая с людьми, пытавшимися совершить самоубийство, убедился: убивают не страдания, убивает мизерность, унижительность страданий. Потерять ногу на войне совсем не то, что под трамваем, и если сын погибнет при покорении космоса, это тоже совсем не то, что «от водки и от простуд» или наркотиков. И те наши страдания, которые вызваны грандиозными историческими событиями, которые укладываются в жанр высокой трагедии, несут в себе и собственное эстетическое исцеление, отбрасывают на наши лица тот кровавый отсвет, о котором писал Блок. Вот этому отсвету и завидуют. Я не раз сталкивался с тем, что люди, вполне благополучно устроившиеся на Западе, из кожи вон лезли, доказывая, что никакой революции у нас не было, что это была спецоперация КГБ, и все в таком роде. До того им обидно, что мы участвуем в истории, а они нет, что они в своих странах проживания, как правило, никто. Зато те, кто продолжает жить интересами России, ничуть нам не завидуют. К сожалению, наше западничество изрядно дискредитирует довольно многочисленные «западники», которые попадают в «русские европейцы» как раз от зависти к тем россиянам, кто живет исторической жизнью своей страны. А что позитивного может родиться из зависти — одно только желание оплевать то, чего нет у тебя. По каким-то причинам, иногда сугубо личным, иногда национальным, эти несчастные ощущают себя внутренними эмигрантами и стремятся возвести свою обделенность в достоинство — я постарался раскрыть этот механизм еще в «Исповеди еврея». Герой изо всех сил тщится презирать все массовое, а потом признается, что счастлив бывал только тогда, когда орал «Го-ол!» вместе со всем стадионом. Человеку не дано искренне презирать то, что неизмеримо могущественнее и долговечнее его. Именно поэтому за национальные оскорбления мстят так жестоко: в слиянии со своим народом большинство людей находит экзистенциальную защиту, и те, кто на нее покушаются, посягают на самые основы их счастья и покоя. Увы, политики редко понимают, что национальные конфликты носят не социальный, но экзистенциальный характер.

Е. И.: **А пока у меня вопросик о другом: почему можно было сказать «буржуазные фальсификаторы», но не получалось — «капиталистические фальсификаторы»? Что означало в советской пропаганде слово «буржуазный»?**

А. М.: Очень тонкое наблюдение. Видимо, капиталист это поджарый энергичный менеджер, а буржуй — жирная туша, жующая рябчиков. То есть, капита-

лизм это экономика, а буржуазность — образ жизни. И если в защиту эффективной экономики еще что-то можно было сказать, то уж в пользу потребительской эгоистичной буржуазности ни у какого диссидента язык не повернется. Да, наша пропаганда, похоже, была не такой уж безнадежно глупой, просто ей приходилось защищать безнадежное дело. В том числе такое безнадежное, как дружба народов. Люди разных национальностей могут дружить сколько угодно, но народы дружить не могут. Народы создаются представлениями о собственной избранности, системами экзистенциальной защиты, а в иллюзиях компромиссы невозможны. Объединить может только общая сказка.

Е. И.: Если национальные проблемы сейчас очень болезненные и нервные, то остро стоит вопрос: как эту нервозность успокоить? Как не навредить? Какими шагами двигаться к недостижимой вершине мирного взаимодействия?

А. М.: Народы в этом отношении подобны людям. Один народ может уважать другой народ лишь в том случае, если это не вредит его самоуважению, его собственной экзистенциальной защите. Народы могут жить в мире лишь тогда, когда каждый поглядывает на другого свысока, как, скажем, штангист на шахматиста, а шахматист на штангиста. Один думает: да, силен, силен, но туповат. А другой: да, умен, умен, но хилjak. И еще нужно вспомнить уроки империй: управлять меньшинствами руками их же элит, по возможности не затрагивая их воодушевляющих иллюзий. Одновременно формируя многонациональную имперскую аристократию, идентифицирующую себя уже не с этносом, а с наднациональной структурой. То есть, открывая и даже поощряя путь вверх для самых одаренных и честолюбивых представителей национальных меньшинств.

Е. И.: Почему вы не возьметесь за утверждение либеральной «сказки»?

А. М.: В последний раз я возвысил свой голос вопиющего в пустыне, когда приятель-физик прислал мне по электронной почте эффектный фрагмент из выступления перед учеными «отца русской демократии», за которого мы с этим самым приятелем в свое время голосовали всякий раз, когда к тому открывалась возможность. Приятель, правда, уже давно пытался поднять бунт, указывая на то, что эти «отчества отцы», которых мы должны принять за образцы, пока ничего не сделали для вечности, но мне все казалось, что прошло еще слишком мало времени, а вот когда свободный рынок отбросит последние стеснения — тут-то и расцветут все искусства и науки.

Однако когда я прочел, что ученым следует не просто ждать спасения от рынка, но еще и самим сделаться лавочниками, или, выражаясь культурно, бизнесменами... Так нашего брата не опускали даже при коммунистах! Когда мы поступали в университет, считалось желательным два года простоять у станка, что открывало дорогу многочисленным троечникам и особо упорным евреям, но даже в ту суровую пору не считалось необходимым вечно совмещать профессию ученого и фрезеровщика. А теперь нам предписывают вечное совмещение лаборатории с лавкой.

Поэтом можешь и не быть, но бизнесменом быть обязан. В приказчиных кругах не верят, что «служенье муз не терпит суеты», что ученый должен быть свободен от забот о земном: даже простейшие эксперименты показывают, что чем с более серьезными деньгами связывать результат работы, тем лучше люди начинают шевелить руками и хуже — мозгами. Ученые чудаки, не замечающие, в

каком мире живут, это персонажи не только из анекдотов — таким был Бор, в какой-то степени Эйнштейн, а Сахарова мы помним сами.

Однако особого пути не должно быть не только у народов и государств, но даже и у профессий — лавочником должен быть каждый. Культ лавки либеральная пошлость называет деидеологизацией, однако всякому идеологическому действию есть удвоенное противодействие. Раз уж маски сброшены — чем так априорно плохи идеологии «особого пути», считающиеся уклонением от светлого будущего всего человечества, а то и претензиями на исключительность?

В пионерлагере это было самое страшное обвинение: ты что, особенный?! Но если бы этот вопрос услышала наша мама, она бы, несомненно, ответила: конечно, особенный! Те, кого мы любим, всегда особенные, ординарны и взаимозаменяемы только те, к кому мы равнодушны. И мир, а в первую очередь наши конкуренты, с утра до вечера учит нас скромности, поскольку именно высокая самооценка придает нам сил, и в конце концов мы овладеваем наукой ни на что не претендовать, пропускать вперед тех, кто поумнее да покрасивее, чего они от нас и добивались. Но когда вдруг в нас кто-то влюбляется и говорит: ты единственный, таких, как ты, больше нет, наша душа отвечает не всплеском скромности — всплеском радости...

Каждый человек и каждый народ может любить только тех, кто поддерживает в нем естественное для всякого живого существа чувство собственной уникальности. Зато когда нас оценивают по какому-то чужому критерию да еще и выставляют не слишком высокую оценку, — тогда-то нам и хочется отвергнуть и оценщиков, и самое их шкалу: мы начинаем настаивать на своей особости, когда нам в ней отказывают. Но, поскольку глобализация все больше стран и народов выстраивает по единому ранжиру — по ВВП, а высокие места в любом состязании достаются лишь немногим, то проигравшим поневоле приходится искать утешения в идеологиях «особого пути» — их расцвет есть реакция на унификацию. И правительства, которые откажутся идти навстречу этой реакции, будут утрачивать популярность, уступая дорогу более услужливым.

Таким вот образом эта могучая психологическая потребность столь многих (в сущности, большинства) народов неизбежно найдет удовлетворение в разного рода идеологиях «особого пути» — только одни из них будут оборонительными, а другие наступательными. Оборонительными идеологиями я называю те, которые декларируют отказ от приза, за который ведется борьба, а наступательными те, которые призывают насильственно захватить этот приз или, по крайней мере, максимально отравить торжество победителей. Уничтожить этот механизм психологической компенсации никому не под силу — попытки его высмеять, изобразить архаической нелепостью могут разве что превратить оборонительные идеологии в агрессивные (направленные в том числе и на своих разоблачителей).

Многие социологические опросы отмечают у россиян симпатию к некоему «особому пути», однако никто даже не ставит вопрос, оборонительный или наступательный характер носит эта симпатия. Лично мне кажется, что в основном пока что оборонительный, но если почаще выводить этот способ самоутешения на чистую воду, то в конце концов удастся превратить его и в агрессивный.

А между тем Россия и в самом деле в одном очень важном отношении чуть ли не два века действительно шла особым путем и достигла совершенно потря-

сающих результатов благодаря тому, что творческое меньшинство в ней оказывалось освобожденным и от серпа, и от молота, и от безмена. Этим творческим меньшинством было то дворянство, то научная интеллигенция, но результат каждый раз оказывался то великим, то просто великолепным.

Уже давно сделалось банальностью, что в России всегда жестко, а то и до нелепости жестоко подавлялась политическая свобода. Однако очень редко или даже никогда не обращают внимания на то, что в России постоянно возникали свободные зоны. Зоны, свободные от корысти и заботы о бренном. Зоны, почти невозможные в более демократических странах, где требуется не только трудиться, но и обращать в товар продукты своего труда: недаром гениальнейший из смертных не желал зависеть ни от царя, ни от народа. Хрен редьки не слаще — Пушкин хотел служить лишь своей поэтической прихоти.

На таких-то островках свободы («праздность вольная — подруга размышленья») и рождались величайшая литература, великая музыка, великолепная наука, позволявшие ученым утолять собственное любопытство за государственный счет. И как раз эти-то островки постаралась уничтожить революция лакеев и лавочников под знаменем рационалистического либерализма. Против которого давно пора возвысить знамя либерализма романтического, отстаивающего для творческой личности принцип «не продается вдохновенье», а служит красоте и величию человеческого образа. Творит бессмертные дела.

Нет-нет, я не покушаюсь на святое, на свободу торговли. Но побеспокоиться об этой свободе найдется кому и без нас. А вот кто позаботится о свободе ОТ торговли?

Гарантии свободы для служения не бренному, но бессмертному, идеология романтического либерализма хотя бы для узкого круга — это и есть «особый путь» России. Вот такую либеральную сказку я не раз предлагал, но заслужил в глазах кондовых либералов, похоже, лишь репутацию чудака, не понимающего что почем в реальном мире. То есть, в той убогой фантазии, которая верит, будто физические ощущения для человека неизмеримо важнее психологических переживаний. Опровергнуть это невозможно, как и любую оборонительную сказку, но русский народ в ней явно жить не желает. За время самого благополучного, может быть, в российской истории брежневского двадцатилетия число самоубийств удвоилось, а пьянство из вредной привычки превратилось в национальное бедствие. Теперь же к этому присоединились еще и наркотики — все это индикаторы прохудившейся экзистенциальной защиты. И народ пытается восстановить ее, выстраивая оборонительную сказку во главе со Сталиным и Александром Невским. И до каких пределов она может пойти, если люди не получают не агрессивные, но творческие формы суррогатного бессмертия — известно одному лишь Богу, в которого я не верю, но без которого большинство людей жить тоже не желает.